

A movie poster for the film 'The Merchant of the Winter Fair'. The background is a vibrant, snowy night scene of a fairground. In the foreground, a woman with long, wavy brown hair, wearing a light blue fur-trimmed coat over a blue dress, looks directly at the camera. Behind her, a man in a dark, ornate coat and cape looks off to the side. The background is filled with the lights of a Ferris wheel, other fair structures, and snow-covered trees. The overall atmosphere is magical and festive.

Лилия Тимолаева

ПОПАДАНКА
В СПИСАННУЮ ВДОВУ
ХОЗЯЙКА
ЗИМНЕЙ ЯРМАРКИ

Лилия Тимолаева

Попаданка в списанную вдову. Хозяйка зимней ярмарки

<https://litres.ru/74220828>

Аннотация

Очнуться в чужом теле — страшно. Очнуться списанной вдовой, от которой Совет требует подписать отказ, — ещё страшнее.

Соломее Вороновой оставили не дом, не деньги и не защиту, а разорённую зимнюю ярмарку: пустые ряды, чужие долги, испуганных мастеров и семь дней до проверки. Все уверены, что вдова не справится и сама принесёт отказ. Богатая Злата Ружинская уже ждёт, когда ярмарка перейдёт в нужные руки.

Но Соломея замечает то, что другие пытались спрятать: старые книги, вычеркнутые имена, странные правила первого звона и знак над воротами, который однажды вспыхивает словами: «Хозяйка вернулась».

Теперь ей нужно вернуть доверие ремесленников, выдержать давление Совета и понять, почему прошлую Соломею сделали виноватой. А рядом — княжий пристав Ратмир Соколецкий, который не обещает спасения, но всё чаще оказывается там, где ей нужна правда.

Содержание

Глава 1. Наследство для списанной вдовы	4
Глава 2. Пустые ряды и чужие долги	27
Глава 3. Первый торг без покупателей	52
Конец ознакомительного фрагмента.	76

Глава 1. Наследство для списанной вдовы

— Подпишите отказ, госпожа Воронова. Чем быстрее мы закончим, тем меньше стыда останется на этом имени.

Чужой голос ударил по мне раньше, чем я успела понять, где нахожусь.

Перед глазами расплывались высокие окна, матовые от зимнего света, тёмные фигуры за длинным столом, белые листы с печатями и тонкая рука в чёрной перчатке, лежавшая поверх раскрытой папки. Только через несколько мгновений я поняла, что рука была моей. Холодная, узкая, с тяжёлым кольцом на безымянном пальце и чужим шрамом у запястья.

Я моргнула, пытаясь ухватиться за хоть что-то знакомое, но вокруг не было ничего моего. Ни комнаты, ни людей, ни одежды, ни даже собственного дыхания. Корсет сдавливал рёбра, на плечах лежала плотная траурная накидка, а у висков тянуло так, как после долгого плача, хотя я не помнила ни слёз, ни причины.

— Соломея Андреевна, — произнёс мужчина во главе стола, и по тому, как он вытянул моё имя, стало ясно: здесь оно звучало не как обращение, а как обвинение. — Совет проявил к вам больше милости, чем вы заслужили. Не вынуждайте нас повторять очевидное.

Соломея.

Имя легло на слух чужим камнем. Я знала, что меня так не звали, но память, не моя и рваная, отозвалась болью в груди. Соломея Воронова. Вдова. Нежеланная. Ошибка покойного мужа. Женщина, которую терпели при жизни супруга и решили убрать после его смерти.

В прежней жизни я тоже не раз сидела перед людьми, которые говорили уверенно, давили сроками и подсовывали бумаги так, словно всё уже решено. Только там от моей внимательности зависели чужие заказы, деньги и репутация, а здесь — целая чужая жизнь.

Передо мной сидели восемь человек. У каждого был свой способ смотреть на меня: с досадой, жалостью, скукой, нетерпением. Один пожилой советник теребил цепь на груди и старательно не поднимал глаз, молодая женщина в меховой накидке улыбалась так ровно, что от этой улыбки хотелось встать и отойти подальше, а мужчина у бокового окна держался отдельно, не вмешиваясь, но именно его присутствие почему-то сильнее всего давило на зал.

Он был высоким, тёмноволосым, в форменном кафтане с серебряной застёжкой у горла. На столе перед ним не лежали бумаги. Он просто наблюдал, сложив руки за спиной, и в его спокойствии не было ни сочувствия, ни злорадства. Только служба, порядок и привычка видеть людей в тот миг, когда с них срываю последние права.

— Я... — голос прозвучал хрипло, и я едва узнала его. —

Что именно я должна подписать?

По залу прошёл едва заметный шорох. Слуга у двери опустил глаза. Писарь, сидевший сбоку с чернильницей и кипой листов, торопливо макнул перо, хотя писать было пока нечего. Женщина в мехах приподняла брови и склонила голову, словно мой вопрос доставил ей удовольствие.

— Вы слышали, господа? — мягко сказала она. — Соломея Андреевна снова делает вид, что не понимает простых вещей.

Её голос был красивым, поставленным и тёплым ровно настолько, чтобы удар выглядел любезностью.

Я повернулась к ней, и в голове вспыхнуло имя: Злата Ружинская. Богатая. Родовая. Та, кому здесь были рады больше, чем вдове покойного Воронова. Воспоминание пришло не картинкой, а ощущением: шорох дорогой ткани рядом, чужие духи, улыбка на похоронах и пальцы, поправляющие жемчужную застёжку, пока Соломея стояла у гроба мужа.

Я сжала край стола, стараясь не показать, как дрожат пальцы. Мне нужно было молчать, слушать и понять правила этой ловушки раньше, чем меня заставят поставить подпись.

— Госпожа Ружинская, — сказал мужчина у окна, не меняя позы, — Совет задал вопрос госпоже Вороновой. Ответит она сама.

Злата перевела на него взгляд, улыбка её не исчезла, но стала острее.

— Разумеется, Ратмир Олегович. Я лишь хотела избавить

присутствующих от лишней неловкости.

Ратмир Соколецкий.

Княжий пристав. Это имя тоже поднялось из чужой памяти, сопровождаемое осторожностью. Не друг. Не враг. Человек, который не нуждался в крике, чтобы его слушали. Человек, которому поручали неприятные решения, если требовалось, чтобы всё выглядело законно.

Председатель Совета постучал перстнем по столу.

— Ваш супруг, Всеволод Воронов, оставил после себя запутанные дела, тяжбы с ремесленными старостами, недоимки по зимним сборам и имущество, которое давно не приносит дохода. Совет не намерен перекладывать его ошибки на городскую казну.

Слово “ошибки” он произнёс так, что стало ясно: к ошибкам относили и меня.

— У моего мужа было имущество? — спросила я, ухватившись за единственное, что могло иметь значение.

Пожилой советник наконец поднял глаза. В них мелькнуло что-то неприятное: не вина, а опасение, что я зацепилась не за ту нитку.

— Был дом на Верхней улице, — сказал он. — Но дом заложен.

Злата легко коснулась меховой муфты.

— И будет разумно, если перейдёт в руки тех, кто способен привести его в порядок. Вы же понимаете, Соломея Андреевна, пустые стены не кормят вдову.

Я поняла не всё, но достаточно. Дом уже кому-то обещан. Деньги уже поделены. От меня требовалось только красиво исчезнуть, желательно с подписью, которая докажет, что я сама отказалась от остатков жизни.

— Что остаётся мне? — спросила я.

На этот раз ответил Ратмир. Он подошёл к столу, взял одну из папок и раскрыл её передо мной. Движения были точными, без желания смягчить удар.

— По решению Совета вам передаётся зимняя ярмарка на Северной окраине. Земля, торговые ряды, складские навесы, две сторожевые будки, старый колодец, весовая изба и права на сбор с мест, если торг будет восстановлен.

В зале кто-то кашлянул. Злата опустила глаза, пряча усмешку, но я успела заметить, как дрогнули уголки её губ.

— Если торг будет восстановлен, — повторила я.

— Именно, — сказал председатель. — В нынешнем состоянии ярмарка не представляет ценности.

— Тогда почему её передают мне вместе с долгами?

Вопрос вырвался раньше, чем я успела прикусить язык. Несколько человек посмотрели на меня иначе. До этого они ждали слёз, растерянности, может быть, мольбы. Вопросы им нравились меньше.

Писарь снова макнул перо, и на этот раз чернила сорвались с кончика крупной каплей прямо на край листа. Он побледнел и быстро прикрыл пятно ладонью. Я заметила это и запомнила. Писарь боялся не меня. Значит, в бумагах было

что-то, чему не следовало оказаться на виду.

Ратмир перевернул страницу.

— Потому что права на сборы нельзя отделить от обязательств. За ярмаркой числятся невыплаченные городские подати, долг перед сторожевой управой, задолженность за ремонт мостовой и спорные платежи бывшим владельцам торговых мест.

— Бывшим?

— Мастера ушли.

— Сами?

Он впервые посмотрел прямо на меня. Глаза у него были серыми, тяжёлыми от сдержанности. Он мог соврать без труда, но по паузе я поняла: ответ был неудобным.

— В документах указано, что сами.

— В документах много чего можно указать, — сказала я, и зал на мгновение замер.

Внутри всё сжалось от страха. Я не знала этих людей, не знала, какие слова здесь считаются дерзостью, за что могут наказать и где проходит граница между слабой вдовой и опасной помехой. Но другая, новая память подсказывала: прежняя Соломея чаще молчала. Опускала голову. Соглашалась. Терпела, пока за неё решали.

И именно поэтому они были так уверены, что сегодня всё закончится быстро.

Злата откинулась на спинку кресла.

— Ах, как неожиданно. У нашей дорогой Соломеи

проснулся деловой ум. Жаль, что не раньше. Возможно, Всеволод Андреевич оставил бы после себя меньше бед.

Имя покойного мужа ударило по чужому сердцу внутри меня. Тело отозвалось болью, хотя мои собственные мысли оставались трезвыми. Всеволод. Мужчина, которого эта женщина, Соломея, то ли боялась, то ли ждала, то ли пыталась понять до самой его смерти. В обрывке воспоминания он стоял у окна, держал в руках связку ключей и говорил: “Если со мной что-то случится, не подписывай сразу”. Дальше память обрывалась.

Я вдохнула глубже и повернулась к председателю.

— Что будет, если я не подпишу отказ?

Он сузил глаза.

— Вам передадут ярмарку по решению Совета. Отказ нужен, чтобы избавить вас от тяжести, с которой вы не справитесь.

— А если я приму?

Снова пауза. На этот раз заговорил Ратмир:

— Вы получите право владения на испытательный срок. Семь дней до первой проверки. Если к тому времени ярмарка не покажет признаков восстановления, Совет сможет признать передачу неисполненной и вернуть имущество городу. Долги останутся на вас до отдельного решения.

— То есть мне дают разорённое место, семь дней и долги, а потом могут забрать даже это?

Пожилой советник поморщился.

— Вы выражаетесь грубо, госпожа Воронова.

— Зато понятно.

Слуга у двери поднял на меня глаза и тут же опустил. Очень быстрый взгляд, полный не насмешки, а внезапного интереса. Он тоже не ожидал, что я скажу это вслух.

Злата сложила руки на коленях.

— Никто не желает вам зла, Соломея Андреевна. Просто иногда женщине лучше признать пределы своих возможностей. Вы пережили тяжёлую утрату, город помнит ваше положение, и господа советники готовы проявить участие. Подпишите отказ, и вам назначат скромное содержание. Вы сможете уехать к дальним родственникам или поселиться в тихом месте, где вас никто не станет тревожить.

Она говорила сладко, но за каждым словом стояла клетка. Скромное содержание. Дальние родственники. Тихое место. Исчезни, пока тебе позволяют уйти без шума.

— А дом на Верхней улице? — спросила я.

Злата замолчала на долю мгновения. Председатель сердито взглянул на писаря, тот уткнулся в бумаги.

— Дом будет рассмотрен отдельно, — сказал председатель.

— Кем?

— Советом.

— Когда?

— Когда возникнет необходимость.

Я уже видела, что необходимости не возникнет. Дом

уплывёт, бумаги перепишут, а Соломея Воронова станет строчкой в старом деле: вдова отказалась от прав по собственному желанию. Я не знала, как попала сюда, но понимала, что, подписав отказ, я похороню не только чужую жизнь. Я лишу себя любой опоры в мире, где у меня не было ни друзей, ни денег, ни даже уверенности, что к вечеру я вспомню, где должна ночевать.

Я посмотрела на лист перед собой. Отказ был написан заранее. Место для подписи пустовало внизу, ровное и ожидающее. Чернила в чернильнице отливали густым блеском. Рядом лежало перо, и я вдруг почувствовала странную злость — не громкую, не красивую, а рабочую, цепкую. Они приготовили всё так аккуратно, что от меня требовалось только быть прежней Соломеей.

— Кто управлял ярмаркой после смерти моего мужа? — спросила я.

Председатель потерял терпение.

— Это не имеет значения.

— Для меня имеет.

— Госпожа Воронова, вы не на торге.

— А жаль, — сказала я. — На торге хотя бы принято называть цену честно.

Один из советников тихо втянул воздух. Ратмир слегка повернул голову, и я не поняла, одобрил он мои слова или решил, что я глупо рискую. Злата перестала улыбаться. Без улыбки её лицо стало холоднее и старше.

— Вам кажется, что дерзость украсит вдовый траур? — спросила она.

— Мне кажется, что вдове полезно читать бумаги до подписи.

Я взяла папку ближе, хотя пальцы ещё слушались плохо. Буквы сначала расплывались, затем собрались в строки. Я читала быстро, не всё понимая, но выхватывая главное: “Северная зимняя ярмарка”, “права сборов”, “обязательство восстановления”, “семидневный срок”, “при отсутствии признаков торга”, “переход под городское управление”, “обременение долговыми обязательствами”.

Внизу, под перечнем долгов, была приписка другим почерком. Слова оказались зачёркнуты, но не до конца. Я наклонилась ближе.

“Спор о праве первичного круга не закрыт”.

— Что такое первичный круг? — спросила я.

Писарь уронил перо.

Теперь в зале замерли все.

Председатель поднялся, ладонь его легла на стол с такой силой, что подпрыгнула печать.

— Довольно. Вам не следовало читать служебные отметки.

— Но они в моих бумагах.

— Они в деле Совета.

— Деле о моей судьбе.

Ратмир протянул руку, забрал лист, но не скомкал и не

спрятал. Он прочитал зачёркнутую строку, задержал взгляд на почерке, затем вложил страницу обратно. На лице его не изменилось ничего, но я заметила, как Злата сжала муфту. Её пальцы в дорогих перчатках вдавились в мех.

Значит, отметка была важной.

— Первичный круг, — произнёс Ратмир, — старое ярмарочное правило. Сейчас оно не применяется.

— Почему?

— Потому что ярмарка закрыта.

— Но мне предлагают её восстановить.

— Вам предлагают принять имущество или отказаться от него, — отрезал председатель. — Не более.

Мне стало ясно, что дальше вопросов не потерпят. Я ещё не знала правил этой игры, зато увидела игроков. Совет хотел быстро закрыть дело. Злата хотела, чтобы я исчезла. Писарь боялся зачёркнутой строки. Ратмир знал больше, чем говорил, и следил не только за мной. А где-то на окраине города стояла ярмарка, которую все называли пустой, но вокруг неё прятали слишком много усилий для бесполезного места.

Я подняла перо. Писарь выдохнул с облегчением. Злата снова улыбнулась.

— Мудрое решение, — сказала она. — Поверьте, Соломея Андреевна, иногда отказ сохраняет женщине остатки достоинства.

Я посмотрела на пустую строку внизу отказа. Потом акку-

ратно отложила этот лист в сторону и подтянула к себе другую бумагу — акт передачи ярмарки.

Писарь побелел сильнее.

— Госпожа... это не тот лист.

— Я вижу.

— Вы ошиблись, — сказала Злата уже без мягкости.

— Нет. Я принимаю зимнюю ярмарку.

В зале поднялся гул. Председатель произнёс моё имя, один из советников требовательно позвал писаря, кто-то за моей спиной охнул. Злата смотрела так, словно я не отказалась от её совета, а ударила её при всех.

Рука дрожала, когда я выводила подпись. Имя Соломеи легло на бумагу криво, непривычно, но узнаваемо. Чужая память помогла закончить росчерк, и я едва не рассмеялась от нервного напряжения. Даже подпись у этого тела знала больше, чем я.

Ратмир взял акт, дождался, пока высохнут чернила, и поставил рядом свою отметку свидетеля. Печать легла на бумагу тяжёлым красным кругом.

— С этого момента, — произнёс он, — зимняя ярмарка на Северной окраине передана Соломее Андреевне Вороновой на условиях испытательного владения. Срок первой проверки — семь дней.

— Семь дней, — повторил председатель с явным удовлетворением. — После чего Совет оценит ваше... усердие.

Злата поднялась. Её платье цвета тёмной вишни скольз-

нуло по полу без единой складки, меховая накидка лежала на плечах так, словно весь этот зал был её гостиной.

— Надеюсь, вы понимаете, что взяли на себя, — сказала она, остановившись рядом со мной. — Зимняя ярмарка не прощает глупости. Там давно никто не ждёт хозяйку.

— Значит, им придётся привыкнуть, — ответила я.

Она улыбнулась одними губами.

— Через неделю вы сами принесёте отказ. Только условия будут уже другими.

Злата ушла первой. За ней потянулись советники, перешёптываясь и не скрывая раздражения. Председатель задержался у двери, бросил на Ратмира короткий взгляд, затем вышел, оставив в зале холод и запах воска от погасших свечей.

Писарь собирал бумаги с такой торопливостью, что едва не порвал один из листов. Я хотела спросить его о первичном круге, но он прижал папки к груди и выскользнул следом за советниками, не оглянувшись.

Мы остались вдвоём с Ратмиром Соколецким и слугой у двери, который притворялся частью стены.

Ратмир сложил акт передачи, вложил его в тонкую кожаную папку и протянул мне.

— Берегите этот документ. Без него вас не пустят даже к воротам.

— А с ним пустят?

— Пустят. Но это не значит, что вам будут рады.

Я взяла папку. Кожа была тёплой от его рук, и эта мелочь почему-то вернула мне ощущение реальности. Всё происходило на самом деле. Чужое тело, чужой город, чужое имя и ярмарка с долгами, которую я только что приняла из упрямства и страха исчезнуть.

— Вы тоже считаете, что я через неделю подпишу отказ?
— спросила я.

Он посмотрел на меня без спешки. Вблизи в его лице не было ни грубости, ни привычной мужской снисходительности, которой хватало у советников. Скорее осторожность человека, привыкшего доверять не словам, а итогам.

— Я считаю, что семь дней для Северной ярмарки — это мало.

— А для вдовы?

— Для вдовы, которая до сегодняшнего дня не интересовалась делами мужа, — он сделал паузу, и в ней не было издёвки, только сухая точность, — это опасно мало.

Я могла бы обидеться. Наверное, прежняя Соломея обиделась бы или опустила глаза. Но он сказал важную вещь: до сегодняшнего дня она не интересовалась делами мужа. Значит, все знали это. Значит, мне нельзя внезапно вести себя как опытная хозяйка, иначе вопросы появятся быстрее, чем ответы.

— Тогда мне нужно увидеть, что я приняла, — сказала я.

— Сейчас?

— А когда? После того как Злата Ружинская решит за ме-

ня, где мне плакать?

Впервые в его взгляде мелькнуло что-то живое. Не улыбка, но тень реакции.

— На Северную окраину лучше ехать засветло.

— Значит, у нас мало времени.

Он не стал спорить. Только повернулся к слуге:

— Подайте сани госпожи Вороновой. И передайте сторожевой управе: я сопровожу её до ярмарки.

Слуга поклонился и вышел. Я осталась стоять с папкой в руках, чувствуя, как после напряжения Совета меня накрывает слабость. Ноги ныли, в затылке пульсировала боль, а в памяти всплывали обрывки чужой жизни: длинный коридор, закрытая дверь, мужской голос, требующий молчать; Злата у зеркала, поправляющая серьги; письмо без подписи, спрятанное в шкатулку; связка ключей в руке Всеволода.

“Если со мной что-то случится, не подписывай сразу”.

Я не подписала. Только теперь нужно было понять, что он пытался сохранить и почему его вдову так старательно загоняли в угол.

Во дворе княжеской управы снег лежал ровным серым покрывалом. Небо висело низко, город тонул в зимнем мареве, и все звуки казались приглушёнными: скрип полозьев, фыркание лошадей, удары сапог по насту. Мне подали старые сани с потёртой обивкой. На дверце ещё виднелся герб Вороновых — чёрная птица с раскрытыми крыльями, но краска облупилась, и птица выглядела подбитой.

Ратмир сел напротив, не пытаясь поддержать разговор. Это даже помогало. Я смотрела в окно, пока сани выезжали с княжеского двора на улицу, и собирала по крупицам сведения о мире, в который попала.

Город назывался Северин. Каменный, купеческий, с крутыми улицами и крышами, нагруженными снегом. В центре стояли управы, дома знати, гостиные дворы и храмы старых ремёсел. Чем дальше мы ехали, тем ниже становились строения, тем чаще попадались заколоченные лавки и дворы, где сушились пустые телеги. Люди оглядывались на наши сани. Кто-то узнавал герб Вороновых и отворачивался, кто-то провожал взглядом Ратмира, а одна женщина с корзиной прижала ребёнка к себе и быстро свернула в переулок.

Я заметила это.

— Меня бояться? — спросила я.

Ратмир посмотрел в окно.

— Вас обсуждают.

— Это мягче?

— Это точнее.

— И что говорят?

— Разное.

— Господин Соколецкий, после сегодняшнего Совета меня трудно оскорбить слухами.

Он повернулся ко мне. На этот раз ответил не сразу.

— Говорят, что вы знали о долгах мужа и молчали. Что мастера уходили с ярмарки после ваших распоряжений. Что

господин Воронов перед смертью пытался уладить дела, но вы мешали ему из гордости.

Я слушала, и каждая фраза ложилась в меня неправильно. Не потому, что я знала правду. Я не знала. Но тело Соломеи реагировало не стыдом виноватой женщины, а старой обидой человека, которого заставили поверить в чужую вину.

— А вы что думаете?

— Я видел документы.

— В документах указано, что мастера ушли сами.

Он понял, к чему я клоню. Краем губ едва заметно тронулась усталая усмешка.

— Вы быстро учитесь, госпожа Воронова.

— У меня семь дней.

— У вас меньше, если считать честно.

— Почему?

Сани качнулись на выбоине, и я ухватила за ремешок у дверцы. Ратмир подождал, пока лошади выровняют ход.

— Потому что Совет не станет ждать семь дней, чтобы убедиться в вашем провале. Люди Златы Ружинской окажутся у ярмарки раньше вас. Должники узнают о передаче к вечеру. Бывшие мастера — к утру. Если кто-то захочет сорвать первый осмотр, он начнёт сегодня.

— Вы говорите так, словно мне помогаете.

— Я говорю так, как есть.

— А почему сопровождаете?

— Потому что моя подпись стоит на акте передачи. По-

ка действует испытательный срок, я отвечаю за законность процедуры.

Законность. Удобное слово. За ним можно было спрятать и помощь, и безразличие.

Сани свернули с широкой улицы на дорогу, где мостовая пропала под плотным снегом. Дома расступились. Впереди показалась окраина: низкие склады, пустые дворы, старая караульная башня с погасшим фонарём. Дальше темнела линия деревянных ворот, над которыми висела большая вывеска на ржавых цепях.

Я ещё издали поняла, что это и есть зимняя ярмарка.

Она не выглядела наследством. Она выглядела приговором, который много лет стоял под снегом и ждал, кому его вручат.

Ворота перекошились, одна створка была подпёрта бревном. По краям площади тянулись торговые ряды с проваленными навесами. Лавки стояли закрытые, у некоторых дверей не хватало петель, ставни болтались, и от каждого порыва ветра по площади проходил долгий деревянный стон. Возле весовой избы лежали занесённые снегом бочки. На крыше сторожевой будки выросли сосульки, похожие на решётку. В центре площади под белым покровом угадывался круг из тёмного камня.

Сани остановились у ворот. Кучер не стал подъезжать ближе и даже не обернулся, ожидая приказа. Похоже, сюда действительно не любили ездить.

Я вышла, едва не поскользнулась, но удержалась. Холод сразу пробрался под траурную накидку, защищал щёки, наполнил лёгкие запахом снега, старого дерева и давно погасших очагов. В городе были шум и чужие взгляды. Здесь стояла такая пустота, что в ней слышалось, как с цепи вывески падает снежная крошка.

Ратмир подошёл к воротам и осмотрел замок.

— Сторожей нет, — сказал он.

— Их уволили?

— Они ушли после последнего спора о плате.

— Все уходят сами, если верить документам.

Он взглянул на меня, но промолчал.

Я подняла голову к вывеске. Сквозь ржавчину и лёд проступали старые буквы: “Северная зимняя ярмарка”. Ниже был знак — круг, пересечённый тремя линиями, похожими на дороги, сходящиеся в центре. В чужой памяти не нашлось объяснения, но пальцы почему-то потянулись к акту передачи в папке.

— Здесь торговали только зимой? — спросила я.

— Главный торг открывали с первым снегом и закрывали перед весенней распутицей. Раньше сюда приезжали мастера из окрестных слобод, купцы с северной дороги, сборщики пушнины, резчики, ткачи, кузнецы, свечники. Потом начались споры о сборах. Места дорожали, людей выгоняли, старые договоры терялись. Последние два года ярмарка стоит пустой.

Он говорил спокойно, но я слышала за этим не историю места, а чью-то долгую работу. Чтобы убить ярмарку, мало одного плохого сезона. Нужно годами повышать сборы, выдавливать мастеров, терять бумаги, ссорить людей, пугать покупателей и ждать, когда все поверят, что место умерло само.

— Кто получит её, если я не справлюсь? — спросила я.

— Совет.

— А потом?

Ратмир посмотрел на ворота.

— Потом, вероятно, будет объявлен новый управляющий.

— Злата?

— У её семьи есть средства на восстановление.

— Конечно.

Я подошла к створке ворот. Дерево под ладонью оказалось шершавым, промёрзшим, с глубокими зарубками. В щели между досками виднелась площадь. Пустая, белая, огромная. Она не звала и не просила. Она просто существовала, равнодушная к тому, что ещё одна женщина с чужой памятью стояла на пороге и пыталась не показать, как ей страшно.

— Ключ у вас? — спросила я.

Ратмир протянул мне связку. На кольце висело три ключа. Два маленьких, один большой, почерневший от времени. Когда я взяла его, в голове вновь всплыл Всеволод у окна. Та же тяжесть металла в ладони. Те же слова: “Не подписывай сразу”.

— Это ключ от ворот?

— По описи — да.

По описи. Я уже начинала ненавидеть эти слова.

Ключ вошёл в замок не сразу. Пришлось надавить, повернуть, затем ещё раз, чувствуя, как сопротивляется старый механизм. Ратмир не вмешался. Только стоял рядом, пока я сама боролась с тяжёлым железом. Наконец внутри что-то хрустнуло, створка дрогнула и подалась вперёд.

Я открыла ворота ровно настолько, чтобы пройти.

Первый шаг на площадь дался труднее, чем подпись под актом передачи. Там, в зале Совета, я выбирала между унижением и риском. Здесь риск обрёл форму: пустые ряды, долги, враги, семь дней и ни одного человека, который ждал бы меня с добром.

Снег под сапогами скрипнул. Звук прокатился по площади, задел закрытые лавки, ударился о весовую избу и вернулся ко мне тонким откликом. Я остановилась у самого края каменного круга.

— Что это? — спросила я.

Ратмир остался у ворот.

— Старый ярмарочный круг. Здесь утверждали первые сделки сезона.

— Сейчас он имеет силу?

— По современным правилам — нет.

Я вспомнила зачёркнутую строку в акте. “Спор о праве первичного круга не закрыт”.

— А по старым?

Он не ответил.

Я сделала второй шаг. Потом третий. Ветер прошёл по рядам, и вывески над лавками закачались одна за другой, будто кто-то невидимый проверял, какие ещё держатся на петлях. На дальнем конце площади с крыши сорвался пласт снега и рассыпался белой пылью. Я прижала папку к груди.

— Соломея Андреевна, — позвал Ратмир.

В его голосе впервые появилась настороженность.

Я обернулась не сразу, потому что в центре круга под снегом проступила линия. Тонкая, серебристая, она шла от моего сапога к первому ряду лавок. Затем вспыхнула другая линия, третья, четвёртая. Каменный круг освобождался от снега сам, открывая узор из дорог, весов, ключей и маленьких торговых знаков.

Над воротами заскрежетала цепь.

Кучер испуганно вскрикнул. Ратмир шагнул на площадь, но остановился, когда старая вывеска над входом дрогнула и покрылась светом изнутри. Ржавчина на буквах не исчезла, дерево не стало новым, но знак ожил так ярко, что зимний сумрак отступил от ворот.

Серебряные линии в центре круга сошлись у моих ног. Воздух наполнился звоном, глубоким и чистым, как от большого колокола под снегом. Я стояла посреди заброшенной ярмарки, с чужим именем, чужой болью и актом передачи в руках, а над воротами одна за другой проступили огненные

буквы:

«Хозяйка вернулась»

Глава 2. Пустые ряды и чужие долги

Огненные буквы держались над воротами несколько долгих ударов сердца, и за это время я успела почувствовать сразу всё: холод, страх, тяжесть папки под пальцами, чужое кольцо на руке и такое пристальное внимание Ратмира, что оно касалось кожи сильнее ветра.

Потом вывеска дрогнула. Свет не погас сразу, а ушёл внутрь дерева тонкими серебряными прожилками, словно старые буквы втянули дыхание обратно. По площади прокатился последний глухой звон, отозвался под навесами, зацепился за ледяные сосульки на сторожевой будке и стих где-то в глубине пустых торговых рядов.

Кучер у ворот торопливо перекрестился по-северински, двумя пальцами касаясь лба и левой стороны груди. Лошади переступили, сбивая копытами жёсткий снег. Ратмир стоял в нескольких шагах от меня, и впервые за всё время его холодное служебное лицо потеряло ту неподвижность, за которую можно было спрятать любые мысли.

— Вы знали? — спросил он.

Голос у него остался ровным, но я уже слышала разницу. В Совете он говорил как человек, читающий постановления. Сейчас — как тот, кто увидел нарушение привычного поряд-

ка и не соби́рался де́лать ви́д, что ни́чего не прои́зошло.

Я посмотре́ла на свои́ ру́ки. А́кт пе́реда́чи в ко́жаной па́пке бы́л прижа́т к гру́ди так кре́пко, что кра́я впи́вались в ладо́нь.

— Если бы зна́ла, — отве́тила я, — на́верное, вы́брала бы мо́мент с ме́ньшим ко́личеством сви́детелей.

Ратми́р пере́вёл взгля́д на во́рота. На́дпись и́счезла, но де́рево во́круг ста́рого зна́ка ещё́ храни́ло сла́бый отблеск, по́хожий на свeт под то́нким сло́ем зо́лы.

— Ярмарочный зна́к не заго́рался мно́го лет.

— С тех пор, как за́крыли то́рг?

— До́льше. По́следний раз его́ ви́дели при ста́рой хо́зяйке.

— У э́той ярма́рки бы́ла хо́зяйка?

Он не отве́тил сразу́. От э́того ко́роткого мо́лчания́ мне ста́ло я́сно: да, бы́ла, и э́то не отнóсилось к тем ве́щам, кото́рые при́нято ра́сказа́ывать вдо́ве в пе́рвый де́нь испы́тательного́ сро́ка.

Я сде́лала ша́г к це́нтру ка́менного́ кру́га. Се́ребря́ные ли́нии под сне́гом уже́ потускне́ли, но узо́р всё ещё́ уга́дыва́лся: расхо́дящиеся до́роги, ма́ленькие ве́сы, ќлючи, св́язки ни́тей, мо́лотки, ча́ши с мо́нетами и ка́кой-то зна́к, по́хожий на ра́скры́тую ладо́нь. Сне́г во́круг моего́ са́пога подта́ял то́нким обо́дком, хо́тя хо́лода ме́ньше не ста́ло.

— Мне ну́жно по́нять, что зде́сь е́сть, — сказа́ла я. — Не по опи́си Со́вета. По-на́стояще́му.

— Сей́час лу́чше ве́рнутьс́я в го́род, — произнёс Ратми́р.
— До те́мноты́ оста́лось ма́ло вре́мени.

Я подняла на него глаза.

— У меня семь дней. Вы сами сказали, что честно считать нужно меньше. Если я уеду сейчас, к утру здесь будет не ярмарка, а чужой склад для чужих людей.

Он оглянулся на ворота, потом на пустые лавки. Мне показалось, он тоже это понимал. Злата Ружинская не стала бы ждать, пока я привыкну к новому имени и найду, где у Соломеи лежат тёплые перчатки. Если люди Совета уже знали о передаче, значит, слух пошёл по городу вместе с первыми санями. К вечеру о моей подписи будут говорить в гостиных дворах, в чайных лавках, у печников, в караульных, на кухнях чужих домов. К утру каждая крыса в Северине узнает, что списанная вдова получила мёртвую ярмарку.

— Осмотрим главный ряд и весовую избу, — решил Ратмир. — Без дальних складов. Там может быть опасно.

— Опасно из-за старых досок или из-за старых долгов?

— И то и другое иногда ломает шею.

Он сказал это сухо, без попытки напугать. Я кивнула и пошла вперёд, стараясь не смотреть на вывеску каждые несколько шагов. Хотелось убедиться, что она снова не вспыхнет и не выдаст мне ещё какую-нибудь тайну, к которой я окажусь не готова.

Главный ряд начинался справа от каменного круга. Когда-то здесь, наверное, было красиво: крепкие навесы, резные стойки, широкие прилавки, крючья для фонарей, таблички с именами мастеров. Сейчас снег лежал на досках

неровными горбами. У первой лавки ставень сорвало с нижней петли, и он бился о стену при каждом порыве ветра. На двери второй лавки чёрной краской было выведено: “Вдове здесь не место”. Краска успела растечься по волокнам дерева, значит, писали не сегодня, но и не много лет назад.

Я остановилась перед надписью.

— Это прежней Соломее?

— Вероятно.

— За что её так ненавидели?

Ратмир подошёл ближе, посмотрел на дверь, потом на следы под ней. Снег был свежий, но у порога темнела утоптанная полоса. Кто-то приходил сюда недавно.

— Иногда ненавидят не за поступки, а за удобство, — сказал он. — На покойную репутацию легко повесить чужие решения.

Я не ожидала от него такой фразы. В ней не было тепла, но была внимательность. Та самая, с которой он в зале Совета заметил зачёркнутую строку и не дал председателю спрятать лист слишком быстро.

— Вы тоже сомневаетесь в документах? — спросила я.

— Я сомневаюсь в людях, которые требуют подпись до того, как человек прочёл бумагу.

— Для княжего пристава это опасная привычка.

— Зато полезная для законности.

Он достал из-за пояса небольшой железный крюк, поддел им защёлку на ставне и осторожно поднял перекошен-

ную доску. Внутри лавки пахло пылью, промёрзшей тканью и мышинными следами. Я заглянула через плечо Ратмира. На полках стояли пустые корзины, у стены валялась сломанная счётная рамка, под прилавком виднелась связка шпагата. Ничего ценного. Ничего живого. Только заброшенность, которую создают не за один день.

— Можно войти?

— Доски проверьте носком сапога, прежде чем ставить вес.

Я вошла первой. Мне хотелось доказать ему, себе и этой пустой лавке, что хозяйка способна хотя бы переступить порог своего имущества без сопровождения за руку. Пол под сапогами жалобно скрипнул, но выдержал. На внутренней стороне двери обнаружился ещё один знак — выцарапанный ножом круг с тремя линиями. Такой же, как на вывеске, только поверх него кто-то грубо провёл крест.

— Это знак ярмарки? — спросила я.

Ратмир наклонился, осмотрел царапины.

— Да. А крестом отмечали лавки, лишённые места.

— Кем?

— Управляющим или старостой.

— Кто был старостой?

— Остап Лютый.

Имя отозвалось в памяти Соломеи смутным беспокойством. Широкие плечи. Седая борода. Мужчина у ворот, который однажды не пустил её на площадь. Чужой голос:

“Поздно пришли, госпожа. Когда людей гнали, вас тут не было”.

Я вышла из лавки, сильнее кутаясь в накидку. Ветер гнал по ряду сухой снег, и тот шуршал по доскам, как просыпанная крупа. Вторая, третья, четвёртая лавки выглядели не лучше. Где-то были выбиты ставни, где-то сняты замки, где-то на прилавках остались следы ножей. Возле пятой лавки я нашла связку маленьких деревянных дощечек с вырезанными именами. Большинство лежали лицом вниз, а две были сломаны пополам.

Я подняла одну. “Мирон Ткач”. Другую: “Аглая Свечница”. Третью: “Савелий Резной двор”.

— Это места мастеров?

— Да. Такие дощечки вешали над лавками в первый день торга.

— Почему они валяются на земле?

Ратмир посмотрел дальше по ряду, где у одной из лавок висела новая табличка без имени. Просто номер и печать городской управы.

— Когда мастера уходили, их имена снимали.

— Или когда их выгоняли.

Он не возразил.

За первым рядом начиналась узкая проходная улица между лавками. Слева тянулись навесы с проваленными крышами, справа — закрытые складские двери. На одной створке кто-то прибил лист плотной бумаги. Ветер уже оборвал уг-

лы, но слова ещё читались:

“Долг Вороновых — позор ярмарки”.

Ниже другой рукой было добавлено:

“Пусть вдова платит”.

Я долго смотрела на эти строки. Внутри поднималось тошнотворное чувство, похожее на стыд, хотя я не совершала того, за что меня здесь осуждали. Но тело помнило годы чужих взглядов. Соломея проходила по этим улицам и слышала шёпот. Соломея опускала голову, потому что каждое слово попадало в уже готовую рану. Возможно, она и правда не понимала дел мужа. Возможно, её держали в стороне. Возможно, она сама пряталась, потому что боялась услышать правду. Но теперь её имя было моим, и платить по этим долгам тоже предстояло мне.

— Сколько именно я должна? — спросила я.

Ратмир вынул из внутреннего кармана сложенный лист.

— По городским бумагам — сто восемьдесят семь серебряных гривен и четыре куны.

Я не знала местных цен, но по тому, как он произнёс сумму, поняла: это много.

— А по настоящим?

— Это и предстоит выяснить.

— Значит, вы тоже допускаете, что сумма неверная.

— Я допускаю, что любая сумма, которую слишком настойчиво дают вдове в первый день, заслуживает проверки.

В его словах была та сухая осторожность, которая уже

начинала казаться мне странной формой поддержки. Он не утешал, не обещал, не говорил, что всё получится. Зато не врал. После зала Совета это выглядело почти щедростью.

Мы дошли до колодца. В описи он назывался старым, но на деле это оказался широкий каменный сруб под деревянной крышей. Цепь примерзла к вороту, ведро лежало рядом, расколотое по дну. Поверх льда на внутренней стенке кто-то процарапал ещё одну фразу:

“До первого звона не доживёт”.

— Что за первый звон? — спросила я.

Ратмир встал рядом, не касаясь колодца.

— Открытие зимнего торга. Раньше первый колокол звучал над ярмаркой, когда хозяйка или староста принимали первые три ряда мастеров. После этого начинался сезон.

— А сейчас?

— Сейчас колокол молчит.

Я посмотрела на каменный круг, который отсюда виднелся между лавками. После вспышки он снова стал обычным — тёмным пятном под снегом. Но обычным это место уже не казалось. Оно услышало мою подпись. Или имя. Или сам факт, что я не отказалась.

— Если колокол зазвонит, Совет не сможет сказать, что ярмарка мертва?

Ратмир повернул ко мне голову. На его лице появилось то выражение, с которым люди смотрят на опасную мысль, ещё не ставшую поступком.

— Осторожнее с такими выводами, госпожа Воронова.

— Значит, я права.

— Значит, вы нашли слово, из-за которого люди Златы начнут действовать быстрее.

Я невольно посмотрела на ворота. За ними уже сгустился зимний сумрак. Кучер по-прежнему сидел на козлах, но теперь рядом с ним стоял мужчина в старом тулупе. Я не видела, откуда он появился. Широкий, коренастый, с опущенной меховой шапкой и седой бородой, выбившейся поверх воротника. В руках он держал посох, больше похожий на обтёсанную оглоблю.

Ратмир тоже заметил его.

— Остап Лютый, — сказал он.

Бывший староста не стал заходить на площадь сразу. Он стоял у створки, разглядывал меня так, словно решал, стоит ли тратить слова. Потом всё же прошёл внутрь, тяжело ступая по снегу. На каменный круг он наступать не стал, обошёл стороной. Эту мелочь я отметила. Старые правила здесь не умерли, если даже злой староста выбирал, куда ставить сапог.

— Госпожа Воронова, — произнёс он без поклона. — Значит, правда. Взяли.

— Взяла.

— Зря.

Голос у него был низкий, хриплый от мороза или старой привычки говорить на ветру. Он не улыбался и не издевался.

Просто ставил передо мной слово, как ставят тяжёлый мешок на прилавок.

— Почему?

Остап хмыкнул и обвёл рукой площадь.

— А вы глазами не видите?

— Вижу пустые ряды, поломанные навесы, исписанные двери и долги, которые мне принесли вместе с ключами. Но это следствие. Я спрашиваю о причине.

Он прищурился. Видимо, прежняя Соломея не задавала ему таких вопросов. Или задавала не так.

— Причина в том, что ярмарка не любит тех, кто приходит последним, — сказал Остап. — Когда мастеров гнали, вас здесь не было. Когда сбор подняли втрое, вас здесь не было. Когда лавки забирали у тех, кто держал их по двадцать лет, вас здесь не было. А теперь знак над воротами вспыхнул, и вы решили, что площадь вас примет?

Боль чужой памяти дрогнула снова. Я могла бы сказать, что ничего не помню. Что я вообще не та женщина, которой он предъявляет этот счёт. Но это прозвучало бы безумием и не помогло бы ни мне, ни ярмарке.

— Я решила, что отказ сделает всё ещё хуже, — сказала я. — Для меня точно. Возможно, и для ярмарки тоже.

Остап посмотрел на Ратмира.

— Пристав теперь вдовьи речи проверяет?

— Я проверяю законность передачи.

— Законность, — повторил староста с горечью. — Хоро-

шее слово. Им тут много чего прикрывали.

— Вы были старостой, — сказала я. — Значит, знаете, где хранятся настоящие книги сборов.

Остап повернулся ко мне всем корпусом.

— Настоящие?

— В городских бумагах сумма одна. На дверях и стенах пишут другую ненависть. Я хочу увидеть записи ярмарки, а не только то, что Совет счёл удобным.

Он долго молчал. Ветер трепал края его тулупа, на бороде оседали снежинки. Потом он отвернулся к весовой избе.

— Книги, что были на виду, забрали после закрытия. Но старые книги лежали в весовой. Если крысы не съели и люди не вынесли.

— Покажите.

— Зачем мне помогать вам?

Вопрос был честным. Я ответила тем же:

— Затем, что если я провалюсь, ярмарку заберёт Совет. А потом, скорее всего, Злата Ружинская. Если вы пришли сюда только посмотреть, как я падаю, можете стоять у ворот. Если вам нужна правда, помогите найти её в бумагах.

Остап сжал посох. Я видела, как в нём боролись давняя злость и понимание, что другого шанса может не быть. Он не верил мне, но Злате, кажется, верил ещё меньше.

— У весовой замок другой, — буркнул он наконец. — Ваши красивые ключики не подойдут.

— А ваш?

Он показал связку на поясе.

— Мой подойдёт. Пока его не отобрали.

Весовая изба стояла на левой стороне площади. Дверь разбухла от сырости и мороза, поэтому Остапу пришлось навалиться плечом, чтобы открыть. Внутри было темно. Ратмир зажёл дорожный фонарь, и желтоватый свет выхватил из сумрака низкий потолок, пустые крюки, старые весы с потемневшими чашами, длинный стол и шкаф у стены. На полу лежала солома, давно ставшая серой. В углу кто-то оставил сломанную метлу, а рядом валялся кусок таблички с половиной имени: "...рина Пряд..."

— Здесь считали сборы? — спросила я.

— Здесь взвешивали товар, записывали места, принимали взносы за ряд, — ответил Остап. — Когда порядок был.

Он подошёл к шкафу, провёл ладонью по боковой стенке, нащупал скрытую защёлку и потянул. Доска отошла с сухим треском. За ней оказался узкий тайник, куда были втиснуты три книги в потрескавшейся коже.

Я почувствовала, как сердце ударило сильнее.

— Почему их не забрали?

Остап вытащил первую книгу, сдул пыль и положил на стол.

— Потому что те, кто забирал, не знали, где искать. Старые ярмарочные книги не держали рядом с городскими отчётами. Их прятали от лишних глаз.

— От Совета?

— От всех, кто считал чужой труд своей кормушкой.

Ратмир поставил фонарь ближе. Я раскрыла книгу и осторожно провела пальцем по странице. Почерк был ровный, крупный. Год, имя мастера, ряд, место, взнос, отметка о долге или льготе. Первые страницы выглядели спокойно. Люди платили немного, многие имели постоянные места. Иногда вместо денег ставили пометки: “работа на общие навесы”, “ремонт колодца”, “свечи для первого звона”. Это была не просто бухгалтерия. Это была жизнь места, где каждый знал, что вложил и что получил.

Вторая книга оказалась другой. Почерк менялся чаще. Суммы росли. Рядом с именами появлялись пометки: “задержал плату”, “место передано”, “право утрачено”, “не явился”. Я пролистывала страницы, и внутри крепло неприятное чувство. Слишком много людей вдруг “не являлись”. Слишком часто места переходили не к новым мастерам, а к пустым номерам.

— Вот, — сказала я и повернула книгу к Ратмиру. — Смотрите. Мирон Ткач платил три гривны за ряд. В следующем году с него требуют девять. Потом стоит отметка, что он не явился. Но через страницу его место записано за городским управлением. Почему не за другим ткачом?

Ратмир наклонился над книгой.

— Потому что место могли оставить в резерве.

— Двадцать семь мест подряд?

Он не стал отвечать сразу. Остап придвинулся ближе, и

его лицо потемнело.

— Я говорил, — сказал он. — Говорил, что так нельзя. Мне ответили, что новый порядок утверждён Советом.

— Кто принёс новый порядок?

Остап отвёл глаза к окну, где за мутным стеклом темнела площадь.

— Управляющий от Воронова.

— От моего мужа?

— От его имени.

Я замерла. Вот она, ловушка. Все считали, что решения шли от дома Вороновых. А если сам Всеволод пытался их отменить перед смертью, значит, кто-то пользовался его именем или печатью.

— Как звали управляющего?

— Савватий Кривец.

Имя не было в запретном списке моих старых книг и, что важнее, не вспыхнуло в памяти Соломеи ничем живым. Значит, она могла его не знать близко. Или её намеренно держали в стороне.

— Где он сейчас?

Остап усмехнулся без веселья.

— Исчез после закрытия. Как только мастера начали требовать пересчёт, он заболел дорогой и уехал греть совесть в тёплые края.

Ратмир поднял на него взгляд. Остап спохватился, кашлянул и добавил:

— Простите, господин пристав. Вырвалось.

— Продолжайте, — сказал Ратмир. — Иногда вырывается полезное.

Я перевернула ещё несколько страниц. В конце второй книги появился новый знак. Изящная буква “Р” в обрамлении ветви. Я видела такой на перчатках Златы? Нет, не букву. Ветвь. Тонкая, с пятью листьями. На её муфте была серебряная застёжка такой формы.

— Это знак Ружинских? — спросила я.

Остап подался вперёд.

— Где?

Я показала страницу. Он склонился над книгой, потом выругался себе под нос так, что Ратмир чуть поднял бровь.

— Это не должно было быть здесь.

— Что означает знак?

— Часть платежей уходила через торговый дом Ружинских, — сказал Ратмир. — Официально — за поставку леса, ткани для навесов, охранные фонари и расчистку дороги.

— А неофициально?

— Это надо доказать.

— Но деньги уходили им?

— По этой записи — да.

Я раскрыла третью книгу. Последние страницы слиплись, но не от сырости. Между ними был тонкий слой воска, которым кто-то намеренно скрепил листы. Остап принёс нож, и я осторожно отделила край. Внутри оказались записи за по-

следний сезон, но половина имён была вычеркнута густыми чернилами.

Я читала вслух:

— “Аглая Свечница — долг погашен работой на общий ряд”. Вычеркнуто. Ниже: “долг не погашен”. Другой почерк. “Мирон Ткач — место сохранено до первого звона”. Вычеркнуто. Ниже: “место утрачено”. “Ульяна Медовая...”

Остап резко поднял голову.

— Что там?

Я подвинула фонарь ближе. Запись была неровной, словно тот, кто писал, спешил или боялся.

— “Ульяна Медовая — хранительница медового ряда, право подтверждено старым кругом”. Это зачёркнуто. Ниже: “выведена из состава мастеров за нарушение порядка”.

Остап долго смотрел на страницу. Его губы сжались в тонкую линию.

— Ульяну выгнали первой, — сказал он. — После неё остальные поняли, что дело не в сборах. Её род держал медовый ряд с основания ярмарки.

— Где она сейчас?

— В нижнем квартале. Свечи льёт, пряники печёт, кому надо — тем продаёт из окна. На ярмарку не ходит. Говорит, пока имя не вернут, ноги её здесь не будет.

Я запомнила. Ульяна Медовая. Если кто-то и мог знать старые правила, то женщина, чьё право подтверждал первичный круг.

— Мне нужно с ней поговорить.

— Она вас на порог не пустит.

— Тогда я постою под окном.

Остап посмотрел на меня с таким выражением, словно впервые допустил, что я не шучу.

Ратмир тем временем взял третью книгу и перелистал последние страницы. Его палец остановился на нижнем углу листа.

— Здесь стоит дата.

— Какая?

— За три дня до смерти Всеволода Воронова.

Я наклонилась. Внизу страницы, рядом с размазанной печатью, действительно стояла дата. Почерк был не тот, что у Савватия. Более уверенный, с острыми росчерками.

— И знак Златы рядом, — сказала я.

Остап шумно выдохнул.

— Не Златы. Ружинских. Так будет безопаснее говорить, пока не хотите получить иск за клевету.

— Я пока не хочу получить только одно — новый отказ на столе Совета.

Ратмир закрыл книгу.

— Эти записи нужно опечатать.

— Чтобы Совет забрал их?

— Чтобы Совет не сказал, что вы их подменили.

Он снял с пояса маленький футляр с воском и служебной печатью. Я сразу напряглась, но он заметил и положил руку

на книгу не как хозяин, а как свидетель.

— Печать будет моя. Книги останутся здесь, если вы настаиваете. Но до проверки лучше сделать копии.

— У меня нет писаря.

— У вас есть руки.

— И семь дней.

— Уже шесть с половиной.

От этой фразы мне захотелось одновременно рассмеяться и сесть прямо на пол. Вместо этого я взяла со стола кусок угля, нашла оборот старой ведомости и начала выписывать имена, суммы и пометки, которые бросались в глаза. Рука быстро устала. Корсет мешал дышать, в пальцах поселился холод, буквы выходили неровными. Но с каждым именем становилось легче. Не потому что долг уменьшался, а потому что хаос обретал очертания.

Мирон Ткач. Аглая Свечница. Савелий Резной двор. Ульяна Медовая. Ефим Кузнечный. Трифон Колесник. Рада Суконница.

Это были не “бывшие мастера”, как сказал Ратмир в Совете. Это были люди, которых вычёркивали один за другим, меняя живые имена на номера и пустые строки.

За окном стемнело. Остап принёс из сторожевой старый железный подсвечник, но свеча в нём едва горела, потрескивая от сквозняка. В весовой избе стало тесно от холода, бумаг и чужих тайн. Ратмир стоял у двери, прислушиваясь к площади. Я сначала думала, что он торопит нас, но потом

поняла: он охраняет.

Остап тоже это понял.

— Ждёте гостей, пристав?

— После вспыхнувшего знака? Конечно.

— От Златы?

— От всех, кто хотел, чтобы ярмарка молчала.

Я подняла голову от записей.

— А знак мог вспыхнуть из-за ошибки?

Остап посмотрел на меня так, словно я спросила, может ли снег падать вверх.

— Ярмарочный знак не ошибается. Люди ошибаются. Писари ошибаются. Совет ошибается, когда ему выгодно. Знак — нет.

— Тогда почему вы не обрадовались?

Он сел на край стола, устало опираясь на посох.

— Потому что знак признал вас, а люди ещё нет. Площадь может назвать хозяйкой хоть нищую девку с дороги, но если мастера не вернутся, если первый звон не прозвучит, если три ряда не откроются, Совет сделает вид, что ничего не было. Скажут: старое дерево вспыхнуло от порчи, вдова напугалась и придумала себе власть. И город поверит тому, у кого больше печатей.

Я отложила уголь.

— Сколько нужно мастеров для трёх рядов?

— По старому правилу — не меньше девяти. Три ряда по три мастера, каждый с именем, товаром и правом места. Но

это минимум. Для настоящего торга нужно больше.

— Девять за шесть дней.

— Девять тех, кто вам не верит, — уточнил Остап. — Девять тех, кого вы или ваш дом уже однажды подвели. Девять тех, кому Злата заплатит, чтобы они сидели дома.

Я посмотрела на список. Ульяна Медовая была первой, чьё имя хотелось обвести. Если вернуть её, за ней могли прийти другие. Или, наоборот, она захлопнет дверь и окончательно похоронит мой шанс.

— Начну с Ульяны.

— Начнёте завтра, — сказал Ратмир.

— Сегодня.

— Сегодня вы едва стоите.

Меня раздражало, что он прав. Ярость и страх поддерживали меня с Совета до этого момента, но теперь силы уходили. В висках стучало, пальцы ныли, а буквы на странице начали расплываться. Тело Соломеи оказалось слабее, чем мне хотелось. Оно пережило похороны, унижение, чужую ненависть, и теперь я заставляла его держаться на одном упорстве.

— Если я лягу спать, долги не уменьшатся.

— Если вы упадёте в снег на нижней улице, Злата Ружинская получит повод объявить вас неспособной.

Остап фыркнул.

— А в этом он прав, госпожа. Город любит жалеть вдов, пока они лежат. Стоит вдове встать — сразу начинают ис-

кать, за что снова уложить.

Я закрыла книгу и провела ладонью по обложке. Кожа была холодной, потрескавшейся, но крепкой. Как сама ярмарка: избитая, исписанная чужими решениями, однако не рассыпавшаяся.

— Где я могу хранить акт передачи и копии?

Остап кивнул на шкаф.

— В тайнике. Но если хотите, чтобы никто не нашёл, лучше не доверять старому месту дважды.

Я задумалась. У меня не было дома — дом на Верхней улице “рассмотрят отдельно”. Не было слуг, которым я могла доверять. Не было даже комнаты, о которой я точно помнила. Зато была ярмарка, и она уже назвала меня хозяйкой.

— Есть здесь место, куда пускали только старосту или хозяйку?

Остап помедлил.

— Была хозяйская кладовая под весовой. Туда вели ступени из задней комнаты. Но вход заложили после закрытия.

— Заложили или спрятали?

— Посмотрим.

Мы перешли в заднюю часть избы. Там пахло плесенью и старым льном. За пустыми ящиками обнаружилась низкая дверь без ручки. Остап постучал по стене, прислушался, затем достал из связки плоский ключ. Замок ответил не сразу, дверь сдвинулась на ладонь и упёрлась в наледь.

Ратмир взялся за край и помог открыть. Я успела заме-

тить, что сделал он это без приказа, но и без той показной заботы, которая унижает сильнее равнодушия. Просто увидел тяжёлую дверь и приложил силу там, где она требовалась.

За дверью вниз уходили пять каменных ступеней. Фонарь осветил маленькое помещение с полками, пустым сундуком, старой жаровней и круглым знаком на стене. Здесь было суше, чем наверху. На полках лежали обрывки шнуров, несколько деревянных печатей и металлическая коробка с проржавевшим замком.

— Вот, — сказал Остап. — Хозяйская кладовая.

Я спустилась первой. Воздух здесь был тяжёлым, но не мёртвым. На стене под знаком сохранилась надпись, выведенная старой краской:

“Честный ряд начинается с честной меры”.

Я провела пальцами по буквам. Эта фраза не была угрозой или обвинением. Она звучала как правило, на котором можно было стоять.

— Здесь и спрячем копии, — сказала я.

— Копии — да, — ответил Ратмир. — Подлинные книги лучше оставить в тайнике наверху, но под моей печатью. Если их вынести, против вас используют сам факт выноса.

— Вы хорошо знаете, как против меня можно использовать каждую мелочь.

— Это моя работа.

— Искать, чем меня ударят?

— Предупреждать, откуда ударят.

Мы встретились взглядами. В тесной кладовой свет фонаря делал его лицо резче. Я не знала, можно ли ему верить. Он был человеком закона, а закон сегодня принёс мне разорённую ярмарку вместо будущего. Но этот же человек не отнял у меня зачёркнутую строку, не перебил перед Советом, не открыл за меня ворота и сейчас не пытался забрать книги.

— Тогда предупреждайте честно, — сказала я. — Даже если мне не понравится.

— Честно? — Он чуть склонил голову. — Хорошо. У вас нет денег, людей, поддержки и опыта. Против вас — Совет, Ружинские, городские слухи и те мастера, которые считают вас виновной. Единственное, что у вас появилось сегодня, — знак ярмарки. Но знак не заплатит долги и не починит навесы.

Я выслушала это до конца. Обидно не было. От правды редко бывает приятно, зато на ней хотя бы можно строить.

— Значит, завтра мне нужны деньги, люди, поддержка и опыт.

Остап за моей спиной неожиданно хмыкнул.

— Сразу всё? Хороший аппетит у новой хозяйки.

— Нет, — сказала я, поднимаясь по ступеням. — Завтра мне нужен первый человек, который согласится сказать правду вслух.

— Ульяна, — понял он.

— Ульяна.

Мы вернулись наверх. Ратмир опечатал книги. Воск лёг

на кожаные обложки тремя круглыми пятнами, в каждом отпечатались его служебный знак. Остап смотрел на это мрачно, но возражать не стал. Я спрятала свои неровные выписки в хозяйской кладовой, под пустой металлической коробкой, а акт передачи оставила при себе.

Когда мы вышли из весовой избы, над площадью уже стояла ночь. Снег не падал, но воздух стал плотнее, колючее. Ворота темнели впереди, за ними ждала дорога в город. Я задержалась на пороге и оглянулась.

Днём ярмарка казалась пустой. Теперь, после книг, имён и вспыхнувшего знака, пустота стала другой. За каждой закрытой дверью угадывался чей-то труд. За каждой вырванной табличкой — человек, которого лишили места. За каждым долгом — рука, переписавшая строку.

Это уже не было наказанием. Это было поле боя, где первый удар нанесли задолго до моего появления.

У ворот кучер спрыгнул с козел и подошёл к лошадям. Ратмир задержался, проверяя замок. Остап стоял рядом со мной, хмуро глядя на площадь.

— Завтра утром, — сказала я, — вы отведёте меня к Ульяне Медовой.

— Я не нанимался в помощники.

— А я ещё не предлагала плату.

Он покосился на меня.

— Платить-то вам чем?

Я посмотрела на погасший ярмарочный знак.

— Пока только обещанием, что если верну ярмарку, старые книги больше не будут прятать от мастеров.

Остап молчал долго. Потом поправил шапку.

— За такое обещание люди дрались. Когда верили.

— А сейчас?

— Сейчас посмотрим, как вы держите слово, госпожа Воронова.

Он вышел за ворота первым. Ратмир дождался, пока я переступлю порог, и только потом закрыл створку. Замок щёлкнул тяжело, окончательно. Я уже собиралась сесть в сани, когда кучер вдруг охнул и попятился от ворот.

— Госпожа...

На внешней стороне створки, там, где ещё днём не было ничего, кроме старых зарубок, висела свежая деревянная табличка. Её прибили на уровне глаз. Гвозди блестели чистым металлом, а буквы были выведены чёрной краской так аккуратно, словно тот, кто писал, никуда не спешил и знал, что мы обязательно увидим.

Я подошла ближе. Ратмир оказался рядом через мгновение, но читать мне не помешал.

«Откажись до первого звона — или потеряешь имя».

Глава 3. Первый торг без покупателей

Табличка висела на воротах так ровно, словно её прибили не в спешке и не в страхе быть пойманными, а с полным правом распоряжаться моим будущим.

Я прочитала эти слова один раз, потом второй. Буквы не изменились, не растаяли от моего взгляда, не превратились в шутку или дурной сон. Чёрная краска ещё не успела промёрзнуть окончательно. На краю буквы “и” висела густая капля, медленно тяжелея от холода. Гвозди были новыми, светлыми, с острыми шляпками, и это почему-то пугало сильнее самой угрозы. Тот, кто пришёл к воротам, не подбирал старый ржавый хлам под ногами. Он принёс всё заранее.

Ратмир шагнул ближе и провёл пальцем по краю доски, не касаясь надписи.

— Недавно, — сказал он.

— Пока мы были в весовой?

— Или сразу после того, как вошли. Кучер мог не заметить.

Кучер, услышав это, втянул голову в плечи и испуганно посмотрел на нас, будто его уже собирались обвинять. Лошади рядом нервно перебирали копытами. Остап стоял сбоку, тяжёлый и мрачный, держал посох обеими руками, и на

его лице читалось не удивление, а злость человека, которому подтвердили давнее подозрение.

— Не любят они ждать, — сказал он. — Значит, знак их напугал.

— Кто “они”? — спросила я.

Остап сплюнул в снег, но имени не назвал.

— Те, кому первый звон поперёк горла.

Ратмир посмотрел на дорогу, уходившую в темноту между складскими заборами. Я тоже повернулась. Ночь уже съела дальний конец улицы, но на снегу у ворот оставались следы. Две пары сапог. Одни широкие, уверенные, другие легче, с острым каблуком. Они подходили к створке сбоку, оттуда, где тень от ворот была гуще, и уходили обратно к дороге.

— Это можно использовать? — спросила я.

— Как доказательство угрозы? — Ратмир склонился к следам. — Можно. Но этого мало.

— Всего сегодня почему-то мало.

— Поэтому нужно выбирать, что делать первым.

Он выпрямился. В свете фонаря его лицо казалось ещё строже, но я уже понимала: строгость не всегда означает равнодушие. Иногда это просто способ не тратить силы на лишние движения.

— Я сниму табличку, — сказала я.

Остап хмыкнул.

— И правильно. Нечего ей висеть.

— Нет. Я не хочу прятать её. Я хочу сохранить.

Оба мужчины посмотрели на меня. Кучер у саней замер с рукой на ремне.

— Госпожа Воронова, — произнёс Ратмир, — если оставите табличку себе, завтра вам скажут, что вы сами её написали ради жалости.

— А если оставлю на воротах, завтра все прочитают и поймут, что меня можно пугать.

— Город и так это поймёт.

— Тогда пусть поймёт ещё одно: я не убежала.

Я подошла к створке и подняла руку к верхнему гвоздю. Дотянуться оказалось трудно, особенно в этой траурной накидке, тяжёлой от снега и чужих запахов. Остап молча подошёл, поддел гвоздь концом посоха и вытащил его одним рывком. Второй снял Ратмир. Табличка оказалась у меня в руках.

Дерево было холодным, но свежим. С обратной стороны — чистым. Ни знака, ни подписи, ни метки мастера. Я провела пальцами по гладкой поверхности и вдруг почувствовала, как усталость, которая ещё минуту назад тянула меня вниз, уступает место ясной злости. Не той, от которой кричат и бросаются словами, а той, что заставляет утром подняться раньше всех и начать считать доски, людей, монеты, угрозы.

— Завтра она будет лежать на первом прилавке, — сказала я.

— Для чего? — спросил Остап.

— Чтобы каждый, кто придёт посмотреть на мой позор,

видел, с чего начался этот торг.

Ратмир чуть прищурился.

— Вы собираетесь открыть ярмарку завтра?

— Хотя бы один ряд.

— У вас нет мастеров.

— Значит, нужно найти хотя бы одного.

Остап посмотрел на меня исподлобья.

— Я же сказал: Ульяна Медовая на порог вас не пустит.

— Значит, утром вы отведёте меня к её окну.

— Вы упрямая.

— Сегодня это единственное имущество, которое у меня точно не отнимет Совет.

Он фыркнул, но уже без прежней злости. Ратмир забрал у меня табличку, завернул её в плотный лист из своей папки и поставил на краю маленькую служебную отметку. Не печать, но знак свидетеля.

— До утра храните при себе, — сказал он. — И никому не показывайте в доме, где ночуете.

— Я пока не знаю, где ночую.

Эта правда прозвучала проще, чем должна была. Остап отвернулся к воротам, будто неожиданно заинтересовался замком. Кучер смутился. Ратмир на мгновение задержал взгляд на моём лице.

— Вдови покои при управе вам должны были предоставить до решения о доме, — сказал он.

— Мне об этом никто не сообщил.

— Конечно.

В этом коротком слове было столько сухого понимания, что я почти улыбнулась. Почти, потому что сил на улыбку уже не осталось.

До управы мы ехали молча. Табличка лежала у меня на коленях под краем накидки, как незаконный товар. За окном тянулись тёмные улицы Северина, и в каждом освещённом окне мне мерещились чужие лица, которые уже обсуждали вдову Воронову. Одни жалели. Другие злорадствовали. Третьи ждали, когда можно будет прийти и посмотреть, как я теряю последнее.

Комнату при управе мне действительно дали, но так неохотно, словно я попросила половину княжеской казны. Маленькая, узкая, под самой крышей, с ледяным кувшином у умывальника и кроватью, на которой матрас напоминал плохо набитый мешок. Слуга принёс мой дорожный сундук. Он стоял у стены, потёртый, с гербом Вороновых, и я долго смотрела на него, прежде чем решила открыть.

Внутри лежала жизнь прежней Соломеи, сложенная чужими руками: два траурных платья, тонкая шерстяная шаль, гребень с потускневшими камнями, пара серёжек, серебряная булавка в виде птицы, несколько писем, перевязанных тёмной лентой, и маленький кошелёк. В кошельке оказалось четыре серебряных гривны, семь медных кун и перламутровая пуговица, которую кто-то, наверное, принял за монету в темноте.

Я выложила всё на стол.

Четыре гривны и семь кун против ста восьмидесяти семи гривен долга. Против пустых рядов, сломанных навесов и девяти мастеров, которые мне не верили.

Серьги легли рядом с монетами. Потом булавка. Потом гребень.

Я не знала, были ли эти вещи дороги Соломее. Тело откликнулось лёгкой тоской только на булавку с птицей. Пальцы не хотели отпускать её, и в памяти всплыл обрывок: Всеволод застёгивает эту булавку у ворот, не глядя в глаза, и говорит, что на людях жена Воронова должна выглядеть достойно. Это не было нежностью. Но и пустым украшением не было.

Я оставила булавку. Серьги и гребень завернула в платок.

Если мне нужно было открыть первый ряд, мне требовались не воспоминания, а метла, уголь, свечи, доски, верёвка, горячая вода для рабочих рук, хотя бы один человек рядом и мастер, готовый поставить своё имя на ярмарке.

Ночью я спала плохо. Сон приходил кусками: зал Совета, огненная надпись, Злата у зеркала, связка ключей у Всеволода, чёрная табличка на воротах. Под утро мне приснилось, что я стою в центре каменного круга, а вокруг вместо лавок — пустые места с вырванными именами. Когда я проснулась, сердце стучало так, словно кто-то снова прибивал гвозди в ворота.

Рассвет был серым, зимним, без солнца. Я умылась ледя-

ной водой, заплела волосы так, как подсказали пальцы Со-
ломеи, и надела самое простое из траурных платьев. Оно всё
равно было слишком городским для работы на ярмарке, но
выбора у меня не было. Поверх — шаль и накидка. В карман
— кошелёк, завёрнутые украшения, мои выписки с именами
мастеров и табличку, которую я не собиралась оставлять в
комнате.

Остап ждал у заднего крыльца управы. Я не спрашивала,
откуда он узнал, когда приходить. Он не объяснял. Просто
стоял, нахохлившись, с посохом и видом человека, который
уже пожалел о своём обещании, но отступить считал ниже
достоинства.

— Живая, — сказал он вместо приветствия.

— Разочарованы?

— Посмотрим к вечеру.

Нижний квартал встретил нас запахом дыма, горячего те-
ста, мокрой шерсти и утренней суеты. Здесь Северин был
другим: тесным, шумным, обшарпанным, но живым. Жен-
щины выносили к лавкам корзины, мальчишки тащили по-
ленья, из открытых дверей вырывался пар, где-то ругались
из-за цены на муку. На меня смотрели сразу и открыто. Не
как в центре, где взгляды прятали за мехами и вежливыми
словами. Здесь не утруждали себя приличиями.

— Вон она, — шепнула одна женщина другой, не понижая
голоса. — Воронова.

— Та самая?

— А кто ещё в трауре по чужим долгам ходит?

Остап шёл рядом и делал вид, что не слышит. Я тоже шла. Каждое слово цеплялось за подол, но назад не тянуло. После таблички на воротах шёпот казался мелким снегом: неприятно, но не смертельно.

Дом Ульяны Медовой стоял на углу, где сходились две узкие улицы. Низкий, тёплый на вид, с окнами, за которыми горел ровный жёлтый свет. Над дверью висела деревянная дощечка с вырезанными сотами и свечой. Изнутри пахло мёдом, пряниками и горячим воском. Запах был такой уютный, что я на мгновение почувствовала не голод, а тоску по месту, где человеку рады до того, как он успел что-то доказать.

Остап постучал. Один раз. Второй. Изнутри донёсся женский голос:

— Если за долгами, идите к тем, кто их придумал.

— Ульяна, это я.

— Тем более уходи, Остап. Ты мне уже приносил хорошие вести. На всю жизнь хватило.

Он поморщился.

— Со мной госпожа Воронова.

За дверью стало тихо. Потом щёлкнул засов, но дверь открылась не полностью, а на ширину ладони. В щели показалось лицо пожилой женщины с гладко убранными седыми волосами и тёмными, внимательными глазами. Маленькой она не была, несмотря на возраст: держалась прямо, подбородок высоко, руки в переднике крепкие, рабочие. Увидев

меня, Ульяна не поклонилась.

— Нет, — сказала она.

— Я ещё ничего не попросила.

— А я уже ответила.

Дверь начала закрываться. Я успела поставить ладонь на косяк, не внутрь — просто на дерево рядом, чтобы не дать себе отступить.

— В старой книге сборов ваше имя вычеркнули, — сказала я.

Ульяна замерла. Дверь осталась приоткрытой.

— Моё имя вычеркнули не в книге, госпожа. Моё имя вычеркнули на площади, при людях, которые ели мой хлеб и грели руки у моих свечей.

— Я знаю.

— Нет, не знаете. Вас там не было.

Остап шумно втянул воздух, но я подняла ладонь, останавливая его. Он был прав вчера: я пришла последней. И если начну спорить с чужой болью, не получу даже разговора.

— Не была, — сказала я. — И не могу сделать вид, что это не имеет значения. Но вчера я нашла запись: “Ульяна Медовая — хранительница медового ряда, право подтверждено старым кругом”. Потом кто-то зачеркнул её другим почерком и написал, что вас вывели за нарушение порядка.

Лицо Ульяны не изменилось, но пальцы на краю двери сжались.

— Кто вам это показал?

— Старые книги лежали в весовой. Остап открыл тайник. Ратмир Соколецкий опечатал их своей печатью.

— Пристав? — В её голосе появилась осторожность. — Зачем ему пачкаться о ярмарочные дела?

— Он говорит, что следит за законностью.

Ульяна впервые посмотрела не на меня, а на Остапа.

— И ты ей веришь?

— Нет, — буркнул он. — Но книги настоящие.

— Я пришла не просить вас простить Соломею Воронову, — сказала я, пока дверь снова не закрылась. — И не требовать, чтобы вы вернулись. Я пришла предложить вам честный ряд на один день.

— На один день? — Ульяна усмехнулась. — Какая щедрость.

— У меня нет денег открыть сезон. Нет людей. Нет поддержки. Но есть знак, который вчера назвал меня хозяйкой, и книги, где видно, что мастеров вычёркивали. Если я не открою хотя бы один ряд, Совет скажет, что ярмарка мертва, а потом отдаст её тем, кто убивал её годами.

— А если откроете один ряд?

— Тогда у нас появится не победа. Только свидетельство, что ярмарка ещё может торговать.

Ульяна смотрела долго. Из глубины дома донёсся тонкий треск фитилей, где-то на столе стукнула деревянная ложка. Я не давила. Мне очень хотелось сказать больше, убедить, пообещать, поклясться, но я уже понимала: люди, которым

годами врали, верят не словам, а тому, что человек готов потерять.

Я развязала платок и достала серьги с гребнем.

— Это всё, что у меня есть из вещей, которые можно продать быстро. Мне нужны свечи, несколько пряников или хлебцев для первого прилавка, ткань, чтобы прикрыть доски, и ваше имя над местом. Если вы не хотите стоять рядом со мной, дайте мне хотя бы право положить вашу дощечку на честный ряд. Покупатель должен видеть, чей труд перед ним.

Ульяна посмотрела на украшения, потом на меня.

— Вы хотите купить моё имя серьгами?

— Нет. Я хочу заплатить за товар и не просить подаяния.

— Вы хоть понимаете цену свечей ручной ливки?

— Нет. Поэтому цену назовёте вы. При всех, если придёте. В этом и будет честный ряд.

Остап закашлялся, пряча реакцию. Ульяна открыла дверь шире. За её спиной виднелась мастерская: столы, формы для свечей, ряды медовых фигурок, аккуратно сложенные корзины, пучки травы у потолка — сухие, пахучие, скорее для аромата, чем для пользы. Я запретила себе задерживать взгляд на этих пучках, чтобы не увести историю туда, куда нельзя. Здесь были ремесло, тепло и руки женщины, которую лишили места.

— Входите, — сказала Ульяна. — Но если начнёте говорить как Совет, выставлю обоих.

В мастерской было жарко после улицы. Ульяна поставила передо мной кружку горячего взвара из ягод и корицы. Я осторожно взяла её обеими руками, чувствуя, как от тепла оживают пальцы. Остап остался у двери, будто боялся приступить без разрешения. Ульяна заметила, молча кивнула на лавку, и он сел с видом человека, которому сделали одолжение и одновременно напомнили старый долг.

Мы торговались почти час.

Не спорили — именно торговались. Ульяна называла цену за свечи, я считала монеты. Она добавляла корзину медовых пряников, я просила меньше, но с правом поставить её имя. Она требовала ткань вернуть к вечеру, я обещала вернуть или отработать на ремонте ряда. Когда я предложила гребень в залог, она неожиданно оттолкнула его обратно.

— Это господская вещь. На ярмарке от неё толку мало.

— А серьги?

— Серьги возьму за свечи и пряники. Но не за имя.

— А за имя?

Ульяна подошла к стене, сняла с крючка старую деревянную дощечку и положила передо мной. На ней было вырезано: “Ульяна Медовая”. Буквы потемнели от времени, но держались крепко.

— За имя вы сегодня при всех скажете, что моё место было отнято нечестно. Не шёпотом в избе. Не после победы. На площади. Пока вас будут освистывать.

Горло сжалось. Это было больше, чем я ожидала. И имен-

но поэтому было правильно.

— Скажу.

— И если ваш пристав отвернётся?

— Всё равно скажу.

— И если Остап промолчит?

— Тогда скажу громче.

Остап недовольно зашевелился на лавке.

— Я ещё живой, между прочим.

— Вот и хорошо, — сказала Ульяна, не глядя на него. —

Живые иногда полезны свидетелями.

К полудню у меня было три корзины: свечи, медовые пряники, несколько маленьких восковых фигурок в виде рукавиц, птиц и ключей. Ульяна сама завернула товар, сама написала цены на кусочках бересты и сама же сунула мне в руки старую ткань цвета тёплого льна.

— Прилавок накроете этим. Только не вздумайте класть прямо на грязь. Сначала вымоете доски.

— Вымыть нечем.

— У ярмарки есть колодец.

— Ведро разбито.

— У меня есть ведро, — сказал Остап, и по его лицу было видно, что он не собирался произносить эту фразу, но произнёс.

Ульяна посмотрела на него с сухим удовлетворением.

— Вот видите, госпожа Воронова, первый помощник уже нашёлся. Только не хвалите раньше времени, а то передума-

ет.

К ярмарке мы вернулись ближе к полудню. По дороге я успела купить у мальчишки две метлы, у старьёвщика — моток крепкой верёвки, а у угольщика — мешочек угля для надписей. Половина монет исчезла. Сergyи остались у Ульяны. Гребень я всё-таки не продала, но не из сентиментальности: старьёвщик предложил за него такую цену, что даже я, плохо знавшая местные деньги, поняла оскорбление.

Ворота ярмарки днём выглядели менее зловеще, но не менее жалко. Табличка с угрозой лежала у меня в корзине. Ратмира у ворот не было. Я поймала себя на том, что ищу его взглядом, и тут же разозлилась на себя за эту привычку, которой ещё не должно было появиться. Он не обещал быть рядом. Он не был моим союзником. Он был приставом, свидетелем и человеком, который умел говорить неприятную правду.

— Первый ряд, — сказал Остап, открывая ворота своим ключом. — Если уж позориться, то ближе к выходу. Быстрее сбежать.

— Или быстрее зайдут люди.

— Оптимистка.

— Нет. Просто вход далеко от весовой, а я пока не хочу, чтобы каждый любопытный видел книги.

Он одобрительно хмыкнул.

Мы выбрали лавку с целым прилавком и более-менее крепким навесом. На двери ещё темнела вчерашняя надпись

“Вдове здесь не место”. Я посмотрела на неё, потом взяла метлу, намочила тряпку в воде, которую Остап с трудом поднял из колодца, и начала оттирать буквы. Краска въелась глубоко, полностью не ушла, но расплзлась серыми пятнами. Поверх я углём вывела новые слова:

“Честный ряд”.

Остап прочитал и покачал головой.

— Большие слова для одной лавки.

— Значит, придётся поставить рядом вторую.

Вторую лавку мы отдали под пустые именные дощечки, которые я собрала вчера. Я разложила их на ткани и рядом положила лист с выписанными именами: Мирон Ткач, Аглая Свечница, Савелий Резной двор, Ефим Кузнечный, Трифон Колесник, Рада Суконница. Дощечку Ульяны поставила первой, прямо у края прилавка. Рядом — табличку с угрозой.

Остап заметил.

— Всё-таки положили.

— Пусть смотрят.

— И что скажете, когда спросят?

— Правду. Что кто-то боится первого звона сильнее, чем я долгов.

К двум часам на площади было уже не пусто.

Сначала пришли мальчишки. Встали у ворот, вытянули шеи, захихикали и убежали. Потом появились две женщины с корзинами. Они не вошли сразу, долго стояли снаружи, переговаривались, показывали на вывеску и на меня. Затем по-

дошёл старик в длинной шубе, посмотрел на “Честный ряд” и громко сказал, что Вороновы теперь и позор умеют продавать на прилавке. Остап сделал шаг к нему, но я остановила.

— Пусть говорит. За слова вход пока бесплатный.

Старик услышал, фыркнул и всё-таки вошёл.

За ним потянулись другие. Не много. Десять, потом пятнадцать, потом около двух десятков человек. Они приходили не покупать. Это было видно по рукам: пустым, спрятанным в рукавах, не готовым тянуться к кошелькам. Они хотели посмотреть, как списанная вдова будет стоять среди пустых лавок с тремя корзинами чужого товара и делать вид, что открыла торг.

Я стояла.

Спина быстро устала, ноги в тонких сапогах замёрзли, пальцы липли к берестяным ценникам. Ульяна не пришла. Я говорила себе, что она не обещала. Она дала товар, имя, условие. Этого было уже много. Но каждый раз, когда у ворот появлялась новая фигура, я невольно смотрела: не она ли.

— Госпожа Воронова, — протянул кто-то сзади, — а скидку за дурную славу даёте?

Смех прошёл по толпе. Я обернулась. У соседней лавки стояли трое мужчин в хороших полушубках, слишком чистых для нижнего квартала и слишком громких для случайных прохожих. Один держал в руках трость с серебряным набалдашником. На рукояти я заметила знакомую ветвь Ружинских.

Вот и люди Златы.

— Скидку даёт тот, кто сначала завысил цену, — ответила я. — Здесь цены называет мастер.

— А где мастер? — спросил второй. — Неужто сбежал, увидев новую хозяйку?

Несколько человек засмеялись. Женщина у ворот прикрыла рот рукавицей. Остап сжал посох.

Я взяла с прилавка маленькую свечу в форме ключа и подняла так, чтобы её видели.

— Это работа Ульяны Медовой. Цена — две куны за свечу, пять кун за три. Воск чистый, фитиль ровный, горит без копоти. Деньги пойдут мастеру. Не мне.

— Ульяна Медовая не торгует на этой ярмарке, — сказал мужчина с тростью. — Её вывели за нарушение порядка.

Я положила свечу обратно.

— По записям старой ярмарочной книги, её право было подтверждено кругом. Позже запись зачеркнули другим почерком. Я считаю это нечестным.

Толпа зашевелилась. Вот теперь они слушали.

— Считаете? — Мужчина улыбнулся. — Вы вчера стали хозяйкой и уже судите старые решения?

— Нет. Я сегодня открыла честный ряд. Здесь каждый видит, чьё имя стоит на товаре, кто назначил цену и куда идут деньги. Если у вас есть доказательство, что Ульяна Медовая потеряла место честно, положите его на прилавок. Я прочту при всех.

Он не ожидал этого. Я увидела, как его улыбка задержалась на лице, но глаза стали злыми.

— Вдова Воронова учит город честности. Дожили.

— Город сам решит, смешно это или полезно.

Я повернулась к людям.

— Кто хочет посмотреть товар, подходите. Кто пришёл только за насмешкой, стойте у ворот. Места на площади достаточно.

Первой подошла девочка лет двенадцати. Судя по зала-танному платку и покрасневшим рукам, не из богатых. Она взяла восковую птичку, посмотрела на цену и вздохнула.

— У меня одна куна.

Её мать дёрнула её за плечо.

— Положи. Не трогай господское.

— Это не господское, — сказала я. — Это работа мастера. Одной куны мало за птичку, но хватит за маленькую свечу.

Я выбрала самую простую, ровную, без фигурки, и протянула девочке.

Она посмотрела на мать. Та колебалась. Толпа смотрела на меня, на ребёнка, на свечу. Любой мой жест могли потом пересказать как жадность или как попытку купить жалость. Я не стала снижать цену на товар Ульяны без права.

— Одну куну я запишу как оплату, — сказала я. — Вторую добавлю из своих денег мастеру. Скидку дала не ярмарка, а я лично. В книге так и будет.

— Какая ещё книга? — спросил кто-то.

Остап, к моему удивлению, сам достал небольшой лист, уголь и положил на прилавок.

— Торговая запись, — буркнул он. — Кто купил, что купил, за сколько. На честном ряду без записи нельзя.

Девочка положила монету. Маленький звук меди о доску оказался первым настоящим звуком торговли на этой площади. Я взяла уголь, записала: “Свеча простая — работа Ульяны Медовой. Цена две куны. Покупатель внёс одну. Одну добавила хозяйка”.

Когда я поставила точку, в глубине прилавка что-то тонко звякнуло — слабо, только для тех, кто стоял рядом. Скорее как серебряная нитка коснулась стекла. Но Остап услышал. Я увидела, как он резко поднял глаза на вывеску. Люди у ворот тоже притихли.

— Что это было? — шепнула девочка.

Я не успела ответить. Ульяна Медовая стояла у входа на площадь.

Она пришла без спешки, в тёмной тёплой шали, с корзиной в руках. Люди расступались перед ней не потому, что она просила, а потому что помнили. Она подошла к прилавку, посмотрела на свою дощечку, на запись, на девочку со свечой, а потом на меня.

— Одну куну добавлять не надо, — сказала она. — Пусть будет первая покупка с благословением ряда.

— Тогда это ваше решение как мастера, — ответила я и зачеркнула последнюю строку. Рядом написала: “Мастер

снизила цену первой покупательнице”.

Ульяна прочла, кивнула и поставила на прилавок свою корзину.

— Пишите дальше, хозяйка. Медовые пряники — три куны за пару. Фигурные свечи — по две. Большие свечи для дома — пять. Кто скажет, что дорого, пусть сам день у горячего воска постоит.

В толпе раздался первый настоящий смешок. Не злой. Неловкий, но живой.

Мужчина с тростью шагнул вперёд.

— Ульяна Семёновна, вы уверены, что хотите связываться с...

— Я уверена, что своё имя знаю лучше вас, — перебила она. — А вот вы, любезный, если будете стоять у прилавка и не покупать, отойдите. Покупателю место загораживаете.

Остап отвернулся, но я заметила, как у него дрогнули плечи. Мне показалось, он впервые за день сдерживал не злость.

После этого торг не ожил чудом. Люди по-прежнему больше смотрели, чем покупали. Кто-то спрашивал цену и уходил. Кто-то подходил к табличке с угрозой и шептался. Люди Златы пытались перебивать, громко считали мои неудачи, спрашивали, сколько рядов можно открыть тремя корзинами, и интересовались, не собираюсь ли я продавать снег с печатью Вороновых. Но теперь возле прилавка стояла Ульяна, и каждую насмешку она встречала таким взглядом, что шутники быстро теряли охоту продолжать.

К середине дня пришёл мальчик с пучком берестяных коробов. Его звали Федот Коробейник. Он не был в старых списках, но сказал, что его отец держал место возле второго ряда, пока “новый порядок” не сделал взнос невозможным. Принёс всего шесть коробов, кривоватых, но крепких.

— Я не торговать, — сказал он, краснея. — Я посмотреть.

— Смотри, — ответила Ульяна. — Только руки у тебя не для смотрин. Выкладывай.

Федот посмотрел на меня. Я кивнула на свободный край ткани.

— Назови цену сам.

— Сам?

— Это честный ряд.

Он назвал так мало, что Ульяна возмущённо цокнула языком и заставила пересчитать. Люди засмеялись уже свободнее. Федот поставил цену повыше, и один короб тут же купила та самая женщина, что утром шепталась у ворот.

Потом пришла Аглая Свечница. Не с товаром — с претензией. Высокая, тонкая, с красными от холода веками и узким лицом. Она встала напротив Ульяны и сказала, что её имя не имеет права лежать на прилавке без её согласия. Я извинилась и предложила убрать дощечку. Аглая ждала спора, а получила выбор. Это сбilo её сильнее любой дерзости.

— А если оставляю? — спросила она.

— Тогда рядом напишем, что вы пришли сами и пока не торгуете. Место не продаётся, не передаётся и не считается

пустым до вашего решения.

Она смотрела на меня долго. Потом вытащила из сумки пять тонких свечей, связанных суровой ниткой.

— Пробные, — сказала она. — Дорого не ставьте.

— Цену называете вы.

— Тогда четыре куны за связку.

Ульяна открыла рот, но Аглая подняла палец.

— Не начинайте. Я знаю, сколько стоит моя работа.

Второй звон прозвучал, когда я записала имя Аглаи. Такой же тонкий, серебряный, пришедший не от колокола, а из-под досок, из старого прилавка, из самой линии ряда. На этот раз его услышали все. Гул разговоров оборвался. Даже люди Златы замолчали.

На вывеске над воротами не вспыхнули буквы, но круглый знак под ней отозвался слабым светом, едва заметным в дневном сером воздухе.

— Порча, — громко сказал мужчина с тростью. — Старое место чудит, а вдова уже готова объявить это правом.

Ратмир появился у ворот в тот самый момент, когда он произнёс эти слова.

Он вошёл на площадь без сопровождения, в тёмном дорожном кафтане, с печатной папкой под рукой. Я не знала, сколько он слышал, но по тому, как разошлись люди, поняла: достаточно было самого его появления. Мужчина с тростью сразу убрал улыбку.

— Если у вас есть заявление о порче городского имуще-

ства, — сказал Ратмир, — можете подать его в управу письменно. С именем и подписью.

— Я лишь выразил мнение.

— Тогда выражайте так, чтобы его можно было записать.

Мужчина не ответил. Зато Злата Ружинская ответила бы красиво, подумала я. Её люди пока только учились.

Ратмир подошёл к прилавку. Его взгляд прошёл по дощечкам, товару, торговой записи, табличке с угрозой. На последней он задержался.

— Вы всё-таки положили её здесь.

— Да.

— И как действует?

— Привлекает покупателей хуже пряников, но лучше пустого прилавка.

Ульяна издала короткий смешок. Ратмир посмотрел на меня так, будто хотел сделать замечание, но передумал.

— Совет прислал запрос о состоянии ярмарки, — сказал он. — К вечеру хотят получить отметку, были ли признаки восстановления.

— Были?

Он взял торговый лист, прочитал записи. Не торопясь. Люди вокруг притихли. Мне вдруг стало важно, что он скажет не мне, а им. Потому что если пристав признает первый ряд, город не сможет делать вид, что я просто играла в хозяйку среди пустых лавок.

— Одна лавка открыта, — произнёс Ратмир. — Три ма-

стера заявлены по именам. Две продажи совершены, одна цена изменена самим мастером и записана. Угроза в адрес хозяйки ярмарки выставлена открыто как свидетельство давления. Признаки восстановления есть.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.